

Глава 5

«Год великого перелома»

Университет. Мобилизация на уран.
Работа для ракетной промышленности.
Фашистская оглобля. Несмеянов и Эренбург.
На краю ГУЛАГа. Смерть Сталина.
Итоги сталинизма.
Россия — преемница нацистского
антисемитизма

В 1946 году я поступил на химический факультет Московского государственного университета. Еще за год до того я не думал изучать естественные науки, предпочитал историю или философию. Но ко времени окончания школы принял решение ни в коем случае не идти по гуманитарной линии, ибо уже ясно понимал, в каком жалком положении находятся гуманитарные специальности, придавленные идеологическим и цензурным прессом.

Однако я был очень далек от точных наук, особенно от математики, и, чтобы переломить эту ситуацию в последний школьный год, начал ходить в математический кружок при мехма-те МГУ, а потом — нагло записался на математический конкурс. И к огромному своему удивлению пробился в финальный тур! Его я, разумеется, не выиграл, но получил диплом, который потом помог мне поступить на химический факультет. Осознал я и эстетическую красоту математики.

Сначала я хотел было пойти на физический факультет, но там был чудовищный конкурс, потому что на физфаке давали бронь от армии, и, кроме того, в вузы в тот год поступало множество вернувшихся с войны ветеранов, которые шли вне конкурса, им достаточно было сдать приемные экзамены хотя бы без двоек. На химфаке тоже был большой конкурс — 16 человек на место, но я смог пробиться. Студенты, работавшие в приемной комиссии, высоко оценили мой конкурсный диплом и юношеский разряд по лыжам. Поступил я на отделение физической химии: поближе к физике, математике и физкультуре, как я шутил.

Но уже на втором курсе у меня произошло серьезное столкновение с режимом. Меня, как и многих других студентов химфака, мобилизовали учиться на отделении радиоактивных соединений, урановых. В США появилась атомная бомба, и надо было догонять! На атомное отделение в полном смысле слова мобилизовывали: кто не хотел туда идти, тому предлагали уходить из университета. Брали на это отделение только мужчин и только с хорошим здоровьем, прошедших специальную медкомиссию. Переводили к нам даже ребят с других факультетов, так как своих здоровых студентов не хватало.

И вот я начал работать с соединениями урана. Разумеется, в обстановке повышенной секретности. Лаборатории каждый вечер опечатывались, учебные пособия и расщепляющиеся материалы хранились в сейфах под присмотром сотрудников МГБ.

В начале второго семестра меня вызвали в отдел кадров и объявили, что я должен уйти с отделения: мое досье не выдержало проверки на благонадежность. Спорить или расспрашивать в таких случаях не полагалось. Переход на открытое отделение во втором семестре озна-

чал потерю года, так как невозможно было наверстать все практические занятия в лабораториях за первый семестр. Мне предложили взять академический отпуск, что и пришлось сделать.

В первый же момент, когда мне объявили об отчислении со спец-отделения, я заподозрил, что дело тут в «пятом пункте», так как в остальном моя анкета была безупречной. И вскоре стало ясно, что это предположение было верным: не один я был отчислен, и все другие отчисленные также оказались «инвалидами пятой группы». В первый момент я был уязвлен, возмущен, но потом понял, что это был тот редкий случай, когда моя национальная принадлежность сослужила мне добрую службу. Догонял Советский Союз Америку в атомном вооружении за счет традиционного для России наплеательства на людей. Все опасные работы проводились почти голыми руками, и люди мерли как мухи. В урановых рудниках работали ээки, которым обещали уменьшать срок на несколько лет за каждый год работы в шахтах, но большинство из них не успевало дожить до льготного освобождения или погибало вскоре после него. Возглавлял работу по созданию атомного оружия Лаврентий Берия, совмещая эту нагрузку с руководством МГБ. И, говорят, проявил огромные организаторские способности.

После моего отчисления со спецотделения мать однажды сказала мне:

— Не вздумай когда-нибудь жениться на еврейке. Я прокляну тебя! Хватит плодить несчастных людей!

На четвертом курсе я поступил на кафедру термодинамики. Этот выбор я считаю очень важным для себя. Термодинамика — одна из самых философских по своему духу дисциплин, и ее изучение способствовало развитию моего философского мышления.

Очень хорошим человеком оказался и руководитель кафедры — Яков Иванович Герасимов. У меня сохранилась о нем самая светлая память. Со временем он предложил мне остаться у него в аспирантуре, на что я, конечно, с великой радостью согласился. И тогда Яков Иванович направил меня на интереснейшую практику. Сначала на электроламповый завод, где я впервые попал в среду настоящих пролетариев и понял, какая великая разница существует между рабочими из сектора обслуживания, с которыми мне приходилось ранее сталкиваться, и рабочими тяжелой индустрии.

Условия на электроламповом заводе были очень суровые: в большинстве цехов стояла высокая, до 50 градусов, температура и оглушал шум от газовых горелок. Почти все пожилые работники в ламповом цеху были из-за этого туги на ухо. Интересно, что большая часть оборудования завода была немецкой, трофейной, довоенного выпуска.

Потом Герасимов отправил меня на обучение к профессору Соколову, единственному в Москве мастеру по изготовлению тонкой, «прецизионной» химической посуды из платины. Я должен был постараться перенять хотя бы часть его мастерства и в случае успешного обучения сделать в его лаборатории несколько платиновых сосудов для моей будущей дипломной работы, тему которой Герасимов уже заранее определил.

И вот я начал учиться плавить и прокатывать платину в тончайшую фольгу, а потом с помощью острого кислородного пламени спаивать ее в цилиндрические сосудики. Малейшее неточное движение — и фольга проплавлялась. Мне казалось, что я никогда не смогу овладеть этой техникой. Но мой учитель, профессор Соколов, который тоже оказался прекрасным человеком, уверял меня, что я научусь работать. И я научился и сделал необходимые мне сосуды. Соколов даже предложил мне после окончания университета работать у него в лаборатории.

Тем временем настал 1952 год, год окончания университета, и самый, наверное, страшный год в моей жизни, когда я едва не наложил на себя руки.

Моя дипломная работа оказалась заказной — делалась по заказу какого-то сверхсекретного учреждения или предприятия. Потом я узнал — завода стратегических ракет, расположенного в Мытищах, под Москвой, и возглавлявшегося академиком Глушко. На работе вследствие этого стоял гриф «Совершенно секретно», что влекло за собой draconовские меры секретности под наблюдением знакомых мне деятелей, которые «на одно лицо».

Яков Иванович предупредил меня, что работа будет очень сложной, тяжелой и может вообще не получиться. Ее уже пытались сделать в одном из институтов Академии наук и не смогли. Но уж если получится, то обеспечена ее публикация в закрытых «Ведомостях» Академии наук, и мне это, что называется, зачтется.

Я, конечно, ринулся в эту работу. И даже обнаглел сочинить пару новых формул для проведения расчетов. В мое распоряжение предоставили только что полученную уникальную вакуумную электропечь, которая позволяла при огромных температурах достигать глубокого вакуума. В этих условиях я должен был определить физико-химические параметры какого-то секретного тугоплавкого порошка. Потом я узнал, что это была окись лития, предназначавшаяся для создания ракетных двигателей.

Работа требовала постоянного по напряжению электротока, а его не было в Москве, и выпрямитель был слабым. Приходилось работать по ночам, когда напряжение было относительно стабильным. В помощь мне оставался на ночь лаборант, а также пара охранников, стороживших гостайну (сейф с документацией и моими записями) и вакуумную печь. Лаборатория находилась в отдельном маленьком домике во дворе химфака.

Шел конец марта, дни становились длиннее, и когда я утром выходил на двор, солнце уже золотило верхушки деревьев и облака в весеннем небе. Пьяный от усталости и счастья, шел я по еще пустой Манежной площади к метро. (Химфак находился тогда в старом здании МГУ.) Дипломные работы большинства студентов носили учебный характер и делались на примитивном оборудовании, а мне выпала радость делать настоящую, серьезную работу на сложнейшем оборудовании: шутка ли сказать, участие в создании ракетных двигателей!

В апреле стало ясно, что работа удалась. Но неожиданно оказалось, что мои результаты на порядок расходятся с результатами, полученными незадолго до того в каком-то «почтовом ящике» с помощью другой методики. Мне было предложено провести контрольный эксперимент: измерить параметры уже обмеренного вещества, эталонного. Герасимов успокаивал меня, что все будет в порядке, что он уверен в правильности моих измерений и расчетов. Но колени у меня все-таки дрожали: моими конкурентами в «почтовом ящике» были настоящие научные работники. И за моей работой наблюдал их представитель.

Примерно к концу апреля контрольный эксперимент был закончен. Полученные мною данные сошлись с эталонными! Герасимов, человек обычно очень уравновешенный, даже обнял меня, поздравляя с успехом.

По всем параметрам, сказал он на итоговом заседании кафедры, это полноценная кандидатская диссертация. Последовала и публикация результатов моей работы в закрытых «Ведомостях АН СССР». «Ну, теперь дело в шляпе!» — говорил мне Яков Иванович по поводу предстоящего распределения. Он официально затребовал оставить меня у него на кафедре в аспирантуре, а сам к тому времени был назначен руководителем всего отделения физхимии!

Все меня поздравляли, и я сам себя поздравлял. Сияющий путь в науку открывался предо мною!

Но состоялось заседание комиссии по распределению — и я получил направление в какой-то никому не известный НИИГГР — Научно-исследовательский институт геофизической и геохимической разведки. Отец мрачно пошутил, что аббревиатура весьма символичная: в Америке «ниггер» — самое оскорбительное название негров. Вроде жиды для евреев.

В характеристике, выданной мне в приложении к диплому, вслед за именем стояло: «еврей»! Национальность в характеристиках для студентов-неевреев не упоминалась.

Герасимов был потрясен едва ли не больше меня. Он попытался хлопотать, чтобы меня оставили у него хотя бы лаборантом, но ему и в этом было отказано.

Я отправился в НИИГГР. Заведение это, как и следовало ожидать, оказалось жалкой дырой и размещалось в полуподвале жилого дома. Но и там меня ждала «приятная» неожиданность. В отделе кадров, увидев мой паспорт, заявили, что произошла, видимо, ошибка: им не нужен химик. Посоветовали обратиться в Министерство геологии, к которому относился этот институт. Там я получил такой же ответ, после чего Министерство высшего образования предоставило мне разрешение на свободный поиск работы. И начались мои хождения по мукам.

Искал я работу либо по рекомендациям знакомых, либо просто ездил по Москве и Подмосквью и знакомился с вывешенными у дверей институтов или заводов объявлениями «Требуется...». Если требовались химики, я заходил. В отделе кадров после процедуры знакомства с моим паспортом всегда следовал один и тот же ответ: «Мы уже наняли химика. Не успели снять объявление». Пару раз я ради интереса приезжал к таким «конторам» вторично и, конечно, находил на объявлениях «химика» в списке вакантных специальностей!

Специалистов с высшим образованием тогда повсеместно не хватало. При этом химики с нашего факультета пользовались репутацией работников высокого класса и были нарасхват. Маленькая деталь. Когда мне в поисках работы приходилось наткнуться на заведующего лабораторией — еврея (изредка еще оставались), то эти несчастные даже боялись говорить со мной без свидетелей: просили выйти из кабинета, вызывали двух-трех русских сотрудников и в их присутствии... отказывали в приеме! До такого умопомрачения были запуганы евреи антисемитской кампанией.

Мои родители были в отчаянии.

— Вот, делал свою революцию, — кричала мать отцу, — а сын твой ходит без работы! Вся его учеба и жизнь — коту под хвост!

А я еще умудрился жениться на четвертом курсе. Зеленым недорослем! Как говорится, пороть меня было некому. Жена училась тогда на третьем курсе исторического факультета МГУ.

Искал для меня работу, конечно, и Герасимов. Он направил меня однажды в Институт физической химии Академии наук в лабораторию термодинамики, которой руководили два милых человека — Беринг и Серпинский, я даже фамилии их запомнил. Они подали на меня заявку в отдел кадров, там меня послали на какое-то предварительное собеседование в отдельный кабинет, где за большим и пустым столом сидел маленький человечек из моих старых серых «знакомцев». Буравя меня глазами и не спрашивая почему-то моего паспорта, он предложил мне заполнить анкету.

— На вопросы отвечайте ясно, четко, — напутствовал он меня. — Например, национальность — русский, национальность отца — русский, матери — русская, под судом и следствием не состоял, на оккупированных территориях не проживал и т. д.

И я в каком-то припадке отчаяния взял да так и написал! На другой день Беринг и Серпинский встретили меня улыбками до ушей: «Бегите скорее в «кадры» оформляться, у них нет возражений!».

В отделе кадров я постучался в дверь «отдельного кабинета» и сказал его хозяину, что допустил в анкете ошибку, попросил разрешения ее исправить. Я зачеркнул везде в анкете слово «русский» и надписал соответственно «еврей», «еврейка». Едва я вернулся домой, как позвонил Беринг (или Серпинский, не помню) и упавшим голосом сообщил, что в отделе кадров возникли какие-то серьезные проблемы. Потом он попросил меня прийти на прием к директору института, именитому академику Дубинину, члену Президиума Академии наук и т. д. и т. п.: они, Беринг и Серпинский, с ним говорили, и он попробует мне помочь. Но и Дубинин не смог меня пробить в свой институт. Такова была тогда сила у чекистов!

— У них против вас есть какая-то запятая, — сказал мне Дубинин. — Попробуйте ее устранить.

Дубинин посоветовал, чтобы мой отец записался на прием к Несмеянову, тогдашнему президенту Академии наук, тоже химику, у которого я проходил курс органической химии, слушал его лекции, сдавал ему экзамены.

Отец так и сделал и, получив аудиенцию, попросил меня пойти с ним. Он не мог запомнить все детали моего дела. Было мне, конечно, стыдно идти с отцом, за его спиной, но выбора не оставалось. Помню, как из огромной светлой приемной, с колоннами по стенам (!) мы попали в маленький темный кабинет, в котором светились только шар торшера и лысина Несмеянова под ним.

Несмеянов вышел из-за стола, пожал нам руки, пригласил садиться. Вспомнил и меня, внимательно, хорошо выслушал и пообещал сделать все что может. Проводил нас до дверей. Он пользовался на химфаке доброй славой интеллигентного и порядочного человека. Запомнилось, видимо по контрасту, какими почему-то удивительно злобными глазами посмотрела на нас его секретарша, подписывая пропуска на выход.

Вскоре я получил приглашение на прием к одному из членов президиума Академии наук, директору Института неорганической химии Академии наук В.И. Спицыну, который тоже читал на химфаке лекции и принимал у меня экзамены. Беринг и Серпинский, узнав об этом, тяжело вздохнули:

— Спичкин — это нехорошо!

И дали мне понять, что он махровый антисемит.

Спицын принял меня, восседая на диване, и даже не пригласил сесть! По внешности он очень смахивал на Рема, начальника гитлеровских штурмовиков. Помните, круглая, бритая голова, острые, жестокие глаза?

Спицын сказал, что секретариат Несмеянова поручил ему разобраться в моем деле. Он разобрался и считает, что у меня нет никаких оснований жаловаться. И прочел мне мораль, что нехорошо прятаться за спину отца и намекать на антисемитизм.

— Я понимаю, на что вы намекаете! Но к вашему сведению, — сообщил он мне, — в нашем институте работают 11 евреев и 17 армян!

Никто не мог понять, почему Спицын заодно с евреями упомянул и армян, которые дискриминации не подвергались. Вероятно, он был из тех оголтелых русских ксенофобов, у которых армяне стоят на втором месте после евреев.

После этого я предпринял экстравагантную по тем временам акцию. Депутатом Верховного Совета СССР от нашего района был Илья Эренбург, и я пошел к нему на прием. Я был немного знаком с ним. Он жил, как я уже упоминал, в нашем подъезде на девятом этаже, последнем, и после эвакуации родителей в Чистополь переселился на время в нашу квартиру — подалее от немецких бомб.

Эренбург поразил меня смелостью, откровенностью высказываний и мрачностью настроения. Он сказал, что может взяться за мое дело, но заранее уверен в НЕуспехе, так как он уже много раз хлопотал по «подобным делам», и в большинстве случаев его заступничество оказывалось безрезультатным. А редкие случаи успеха были по обстоятельствам настолько неотличимы от всех других таких же дел, что он пришел к выводу, что власти просто не хотели, чтобы создавалось впечатление правила без исключений в их действиях. Мало того, как раз незадолго до моего прихода ему позвонил заведующий отделом науки ЦК Юрий Жданов (сын известного сталинского сатрапа А. Жданова и выпускник опять же нашего факультета) и попросил напрямую, чтобы Эренбург не беспокоил никого по «такого рода» делам, так как «для ваших клиентов штатных единиц нет», сказал Жданов.

Эренбург посоветовал мне попытаться устроиться преподавателем в школу, если еще не поздно...

— Положение очень серьезное, — сказал он на прощание. — И будет, видимо, еще серьезнее. Надо быть готовыми к тяжелым испытаниям.

Я ушел от него, гадая, что скрывается за этими его словами. Напомню время — осень 52-го года, дело кремлевских врачей-евреев, «убийц в белых халатах». Потом я понял, что Эренбург был уже осведомлен о планах Сталина выселить всех евреев в Сибирь, а «врачей-отравителей» повесить на Болотной площади. Впоследствии стало известно, что Эренбург единственный отказался подписать письмо группы «знатных евреев», сочиненное по приказу Сталина, в котором они (фамилии их, кстати, до сих пор неизвестны!) от имени еврейского народа просили партию и правительство сослать всех евреев туда, где они могли бы честным и тяжелым трудом искупить свои «преступления перед страной и советским народом».

Отказ Эренбурга поставить свою подпись под таким письмом был фактом исключительного, жертвенного героизма, ибо у него не могло быть никаких сомнений в том, что Сталин не простит этого поступка и рано или поздно его уничтожит. И кто знает, не спас ли Эренбург советских евреев от массовой депортации? Ведь он не только отказался подписать упомянутое письмо, но и сам написал Сталину, что депортация евреев вызовет крайне негативную реакцию во всех кругах всех западных стран и обострит противостояние Запада с Советским Союзом. Эренбург пользовался тогда огромным уважением и известностью в мире, и вполне возможно, что его письмо все-таки смутило тирана и приостановило на какое-то время исполнение его замысла, а там и смерть-избавительница подоспела.

Мой тесть, занимавший высокий пост в Министерстве транспорта (заведовал отделом образования и культуры), сказал мне после смерти Сталина, что уже были готовы составы для вывоза евреев из Москвы в Сибирь и на Север. К сожалению, я не попытался узнать, когда тестю стало известно о «еврейских составах» — после смерти Сталина или до? Ведь эти соста-

вы должны были увезти и меня, его зятя, возможно, с его дочерью! И если он знал «до», его следовало бы поздравить с завидной партийной выдержкой.

Предполагаю, что мое посещение Эренбурга состоялось вскоре после его отказа подписать письмо евреям Сталину: уж слишком мрачен он был и откровенен. С той поры меня всегда возмущали люди, которые чернили память этого человека, хотя и мне, естественно, не все нравилось в его прежних книгах. Своим героическим поступком в 52-м году и всем своим последующим поведением: защитой гонимых, воскрешением памяти замученных и своим творчеством — Эренбург с лихвой искупил прошлые литературные прегрешения. В дальнейшем у меня сложились с ним очень теплые отношения, и я многим ему обязан. Бесконечно жаль, что его нет в живых, и я не могу подарить ему эту мою книгу. Если бы таких людей среди интеллигенции было больше!

После посещения Эренбурга я пытался устроиться в школу, но и на эту работу меня не брали. И тогда моя мать в отчаянии предприняла очень грустный шаг. Она пошла в милицию и стала пытаться выхлопотать мне русский паспорт. Она сказала начальнику милиции, что может представить свидетельства людей с ее родины, что она является внебрачной дочерью русского человека. На что милиционер ответил ей, что в этом случае нужны только документальные свидетельства. Между прочим, ее отец и мать во время войны не смогли или не успели эвакуироваться и пропали без вести, скорее всего, были уничтожены нацистами. Я видел в раннем детстве только приезжавшую к нам бабушку, но не помнил ее. Я спросил маму, на что она рассчитывала, как бы она могла найти «свидетелей»? Она ответила, что думала попытаться уговорить в ее родном селе кого-нибудь из стариков, знавших ее родителей, заплатить им хорошо, чтобы они дали там на месте нужные свидетельские показания.

По поводу недопущения еврейской молодежи в науку необходимо отметить, что эта практика очень плохо соотносилась с мифом о прагматизме Сталина, модным сейчас среди интеллигенции, поддерживающей режим «прагматика» Путина. В моем случае все чиновники, закрывавшие мне дорогу в науку, знали, что меня хотел оставить в аспирантуре, в науке выдающийся ученый, руководитель отделения физической химии МГУ, а в Институте физической химии Академии наук за меня хлопотал директор института, член Президиума Академии наук, и нетрудно было, казалось бы, понять, что я мог в будущем стать полезным для советской науки и государства ученым. И, наверное, чиновники это понимали, но порядок, антисемитский, был превыше всего.

К концу 52-го года я дошел до того, что начал заниматься «публицистикой»: написал два анонимных письма. Одно Молотову — о том, до чего власти довели страну, о голоде во многих местах, о нищете, о каторжных условиях труда на заводах и в колхозах, о спаивании народа, коррупции и т. д. Молотов казался мне и многим чуть-чуть светлее и интеллигентнее других вождей, и кроме того, я знал от отца, что его жена, Полина Жемчужная, еврейка по национальности, была арестована сталинистами как вредительница и находилась в лагерях. Это письмо я заканчивал словами, что пишу ему потому, что у меня еще осталась какая-то вера в его порядочность, но веры этой недостаточно, чтобы я решился подписать письмо своим именем.

Второе письмо я адресовал академику Панкратовой, профессору истории, члену ЦК КПСС, бывшей тогда «рупором партии в исторической науке». Незадолго до того центральные газеты напечатали ее статью о замечательной дружбе народов, царящей в Советском Сою-

зе. Я написал ей письмо от имени крутого антисемита, который возмущен, что она включает в «дружную семью советских народов» этих ужасных евреев, агентов всех империалистических разведок мира.

Примечательна в свете современной ситуации была деятельность Панкратовой и по озвучиванию очередного сталинского поворота — новой трактовки борьбы чеченского народа за независимость. С ленинских времен борьба чеченцев против российской экспансии рассматривалась, естественно, как явление положительное. Панкратова же, выполняя высочайший заказ, во всех газетах и учебниках истории доказывала, что завоевание Кавказа царской Россией было делом прогрессивным, иначе на Кавказ пришли бы английские империалисты и стали бы жестоко эксплуатировать кавказцев. Российское же завоевание не мешало людям на Кавказе хорошо жить, и главное, приобщало народы Кавказа к великой русской культуре. Английские завоеватели никакой культуры с собой не принесли бы. Панкратова также утверждала, что чеченское сопротивление, согласно «новым достоверным данным», было инициировано и поддерживалось, финансировалось английскими империалистами, а предводитель чеченцев Шамиль был вообще английским шпионом. (Не правда ли, сегодня все это здорово звучит?)

Оба письма я написал, чтобы отвести душу. Затея была, конечно, сугубо инфантильная.

Письма я напечатал на отцовской машинке. Первое письмо, к Молотову, благополучно опустил в почтовый ящик, а второе (Панкратовой) отправить не успел.

День тот сложился для меня фатально. Утром я мотался с письмом по городу по каким-то делам и забыл опустить его в почтовый ящик. Поехал вместе с ним на дачу в Кратово — мать просила меня там что-то сделать. Возвращаясь с дачи, пошел на дальнюю станцию Хрипань, около одноименного села, что на казанской линии — захотелось пройтись. Дорога пролегла через лес. Смеркалось. И повстречались мне двое молодых лесничих с девушками. Лесничие тогда тоже имели свою форму. Как назло, я забыл в этот день надеть часы и, боясь опоздать на поезд, спросил у них время. Пригородные поезда на казанской линии ходили тогда с часовым перерывом. Лесничие ответили мне, и мы разошлись... Как вдруг они окликнули меня. Я остановился. Покинув своих девушек, они подошли ко мне: «А ну-ка, молодой человек, предъявите ваши документы! Время сейчас тревожное, всякие люди по лесу шляются,» — своеобразно извинились они. Тут оказалось, что я забыл в тот день дома и паспорт.

Лесничие предложили мне пройти с ними для выяснения личности в ближайшее отделение милиции. Я взмолился, очень, мол, спешу. Да и девушки ждали их. И лесничие пошли мне «навстречу»: решили сами обыскать меня. Нашли телефонную книжку, в которой был записан номер моего паспорта. «Проверят где надо и пришлют обратно», — заверили они меня, забирая книжку. Потом нашли и письмо к Панкратовой.

— Это не мое письмо, чужое.

— Ничего, там посмотрят и отдадут, — успокоили меня лесничие. И отпустили.

В те времена служащие многих профессий обязаны были одновременно служить и осведомителями органов. Кроме лесничих, в это число входили лифтеры, дворники, секретарши в учреждениях и т. д. Все, кто по роду службы мог помогать следить за людьми.

Расставшись с лесничими, я пошел к станции, решив броситься под поезд. Меня ждал арест и страшные сталинские лагеря. Ведь я уже знал, что это такое, видел своими глазами в Чистополе, и та картина немедленно возникла передо мной.

Но из-за обыска я опоздал к поезду. Около часа ждал следующего. За это время несколько пришел в себя и решил понадеяться на «авось». Авось пронесет, авось они мои бумаги выкинут, потеряют, забудут, поленятся отнести «куда надо». Дома я ничего о моем лесном приключении не рассказал, даже жене.

И далее произошло уже нечто совершенно кафкианское. Я донес сам на себя! На другой день после встречи с лесничими разыскал в своей старой телефонной книжке номер телефона моего последнего куратора, позвонил ему и попросил о свидании. Я «сообщил» ему, что накануне нашел в туалете МГУ какое-то анонимное письмо подозрительного содержания, что-то насчет государственного антисемитизма, и взял его, чтобы принести к ним, да вот столкнулся с лесничими, которые его отобрали. Куратор холодно выслушал меня, пробормотал что-то вроде «там разберутся» и поспешил распрощаться.

Спустя некоторое время я понял, что своим «сообщением» не оставил шансов на то, что мое письмо Панкратовой могло бы затеряться и не привлечь внимания органов.

Прошло какое-то время. Я уже начал было немного успокаиваться, как вдруг однажды раздался телефонный звонок — и я услышал голос моего старого знакомого, одноклассника Юры Новикова, о котором я уже упоминал, сына главного маршала авиации. Мы не виделись с ним с той поры, когда меня выгнали из 12-й школы. Но я слышал, что его отец попал за что-то в немилость к «хозяину», как тогда все называли Сталина, был арестован и находился в лагерях.

Юрий сказал мне, что у него есть ко мне небольшое дело и он хотел бы зайти. Я не возражал. Меня только удивило, что Юрий находится в Москве, являясь сыном «врага народа», где-то работает и даже живет в прежней квартире в Доме правительства, что рядом с кинотеатром «Ударник». У них лишь, по словам Юрия, отобрали половину квартиры. Я, между прочим, был один раз в этой квартире, когда еще учился с Юрием в одном классе, и меня поразили ее размеры; я еще шутил потом, что по коридору можно кататься на велосипеде.

Когда Новиков пришел ко мне, он сказал, что заочно учится в Литературном институте и темой своей курсовой работы взял творчество моего отца. В связи с этим он хотел бы с ним посоветоваться и несколько страниц из курсовой работы отпечатать на нашей машинке, чтобы отец смог легко их прочесть. У него, мол, своей машинки нет. Все у меня внутри оборвалось: я все понял! Промямлил, что машинка сломана.

— Может, ты боишься? Может, она у вас не зарегистрирована? — внаглую спросил Новиков.

— Зарегистрирована, — соврал я.

Напомню, что пишущие машинки при Сталине полагалось регистрировать в милиции, чтобы в МГБ от каждой пишущей машинки был отпечаток шрифта. Но родители приобрели машинку еще до всяких сталинских строгостей, а после выхода соответствующего постановления не озаботились ее регистрацией, возможно, забыли.

Новиков, однако, оказался изобретательным. Воспользовавшись тем, что я на какое-то время отлучился из комнаты, он ловко подъехал к матери: пишет, мол, об отце и является горячим поклонником его творчества... Когда я вернулся, то увидел, как мать выносит ему машинку!

Отпечатав свои листки, в отличном настроении, враз закончив «оперативную разработку», Новиков отправился восвояси. «Источник сообщает» и все такое...

Мне стало понятно, какой ценой Новиков остался в Москве и даже в своей квартире.

После его ухода я обо всем рассказал родителям и жене, и мы стали ждать ночного звонка в дверь. Мать трясло. Она уговаривала меня бежать куда-нибудь из Москвы. И сколько «комплиментов» наслушался от нее бедный отец по поводу его «проклятой революции»!

— В 37-м году, — кричала мать, — я ждала твоего ареста, а сейчас должна ждать ареста сына!

Мною овладела апатия: ничего уже не поделаешь, никуда не скроешься. Вновь засверлила мысль о самоубийстве. Но на доньшке оставалась надежда, держала. Та позорная надежда, из-за которой люди роют собственную могилу, вместо того чтобы броситься с лопатой на расстрельщиков и получить легкую смерть.

Шел, кажется, уже февраль 1953 года.

Новиков явился вновь. Он стал интересоваться моей жизнью, взглядами и ... друзьями. Я понял, что там решили создать групповое дело. Новиков приходил еще несколько раз, разумеется, без предварительных звонков и согласования. Пришлось срочно, наврав с три короба, просить моих друзей и знакомых не приходите ко мне до времени.

Но пришел март 1953 года, когда неожиданно «ранней весной флаги улыбнулись черной каймой», как написал потом Борис Слуцкий в своем знаменитом стихотворении по поводу смерти Сталина. «Трубы, взревите, ногами вперед поехал смотритель...»

У нас после смерти Сталина появилась глухая надежда, что моему делу не дадут хода, забудут, не до того им будет.

И 1 апреля настал день реабилитации «врачей-отравителей», о чем было торжественно объявлено от имени самого Берии. Начался, по выражению Солженицына, «отлив». Новиков пришел еще раз, но какой-то вялый, потухший, словно осенняя муха. Хотя ему, казалось бы, надо было радоваться: у него ведь должна была появиться надежда на возвращение отца!

— Что творится-то?! — сказал я.

— Да. Еще и не то будет... — протянул он. И ушел. Непонятно, зачем приходил. И сгинул. Больше я его никогда не видел.

Почему Новиков был так явно не рад тогдашнему повороту событий? Очевидно, он чем-то сильно перегрузил свою совесть — какими-то тяжелыми доносами, или как-то против отца выступил, возможно, отрекся от него. Так многие тогда делали, чтобы не попасть в лагерь.

При Хрущеве маршал Новиков был реабилитирован одним из первых, его мемуары печатались в «Новом мире».

Моя мама, осмелев, позвонила в Литинститут. Ни на каком факультете Новиков, конечно, не числился. «Издохновение вождя», как я это называл, спасло меня от хорошего срока лагерей. Тогда всем политическим давали срока максимальные — 25 лет.

После 1 апреля я пошел в школу, в которую уже обращался в поисках работы по совету Эренбурга. Тогда со мной даже и разговаривать не стали, а сейчас — с радостью приняли на работу.

— Теперь все будет хорошо! — сказал отец. И тут уж меня прорвало.

— Ничего хорошего при этом режиме не будет! — закричал я. И впервые мелькнула мысль, что хорошо было бы убраться из этой страны к такой-то матери.

Работая в школе, я продолжал искать себе место в науке, но все поиски по-прежнему оставались безуспешными.

Однажды позвонил и Яков Иванович Герасимов:

— Вадим, вы не передумали заниматься наукой?

Я сказал, что не передумал, и Герасимов сообщил мне, что у него на кафедре появилась вакансия, и он попробует оформить меня к себе.

Через пару недель позвонил еще раз и сказал, что у него ничего не получилось. «И вновь все по той же причине!» — пояснил он.

После этого я решил окончательно распрощаться с мечтами о научной карьере. Работать из милости, под угрозой вновь оказаться под ударом, работать для этого режима, укреплять его?!

Процесс моего отторжения завершился.

Дни похорон Сталина были днями большой истории, и на них стоит хотя бы коротко остановиться, вернувшись немного назад.

Врезались в память минуты прощальных гудков фабрик и заводов. Гудки должны были начаться в определенное время, и город замер в ожидании. Остановились трамваи, машины, люди вышли на улицы и стояли молча, глядя в небо. Никогда в жизни я не слышал такой гулкой, тревожной тишины. И в то же время тишина эта была узнаваемой, знакомой: казалось, что в какой-то другой жизни я ее уже слышал.

И вот застонали гудки бесчисленных московских заводов и, множась, густея, поплыли над городом в сыром мартовском небе. Боже, какие серьезные, остановившиеся лица были у людей. Таких лиц я тоже больше никогда не видел. Все понимали, что кончилась целая эпоха и впереди — тревожная неизвестность. В уголке сознания промелькнула мысль: эх, если бы сейчас что-нибудь началось!

Но ничего хорошего не началось. Начались позорные дни смертоубийственной давки в толпах москвичей, желавших проститься с «отцом родным».

Город был словно на осадном положении. Везде солдаты, военные машины, заграждения из них. Солдаты, отогреваясь, лежали на полу в залах метро. Центр, улица Горького, улица Чехова и многие другие были закрыты для транспорта. Все шли вверх по улице Горького к Белорусскому вокзалу, а оттуда по улице Чехова спускались обратно в центр, к Колонному залу, где лежал гроб с телом «хозяина».

В квартиру к нам ввалились мои сверстники — соседи по подъезду: Олег Погодин, Тата Сельвинская, Кома и Миша Ивановы, еще кто-то. Предложили присоединиться к ним — идти в Колонный зал проститься с вождем. Пришлось пойти, но в начале улицы Горького мы с женой затерялись в толпе и повернули обратно домой.

Несмотря на все принятые властями меры уже к вечеру первого дня похорон стали приходить страшные вести о задавленных, задушенных, затоптанных людях. Точная цифра погибших осталась неизвестной. Поговаривали о сотнях и даже тысячах жертв «прощания». Сталин, даже лежа в гробу, продолжал убивать.

Слезы скорби по усопшему тирану и смертоубийственная давка были двойным безумием, ибо у доброй половины плакавших и давившихся в толпе людей наверняка кто-нибудь из близких погиб или погибал в сталинских лагерях. Вспоминалось: «Нация рабов! Сверху донизу — все рабы!».

Всем известны фотографии похорон Ленина в январе 24-го года. Тот же Дом Союзов, те же улицы и не меньшее количество народа в колонне, уходящей в двери Дома Союзов. Но никаких войск кругом и никакой давки. Отец с матерью ходили проститься с Лениным. Люди шли в полном спокойствии, сами поддерживали порядок, не напирали, не валили, не топтали друг

друга. Другой был народ? Да, наверное. Но и то сказать — обыватели, холуи, мелкая буржуазия, которые в начале века устроили «ходынку» на коронавании Николая Второго, с Лениным прощаться не ходили. Зато приехало много крестьян из центральных губерний. К 24-му году НЭП уже проявился во всю свою силу, и отношение большинства крестьян к Ленину и советской власти положительно переменилось. Отца, между прочим, поразил один из таких крестьян, с которым он разговорился по дороге к Колонному залу.

— Ленин был белой вороной среди царей, — сказал крестьянин, — не завелись бы снова черные вороны на троне!

Недавно Борис Березовский в интервью для «Свободы» заявил с присущим ему апломбом, что Сталин пользовался всенародной любовью, и в доказательство рассказал о своем отце, который, мол, плакал, узнав о смерти Сталина, хотя к тому моменту два года ходил без работы из-за своего еврейства. Типичная, на мой взгляд, реакция дворового холопа, который плачет по барину, не-

смотря на то что барин не раз приказывал его сечь на конюшне.

У нас в семье отношение к Сталину и его смерти выразила мама: «Подох наконец-то!» — сказала она. Ее «любовь» к вождю была безграничной!

Итоги сталинизма

Подводя итог эпохи Сталина, хочу сравнить два главных тоталитарных режима прошедшего века: сталинский и гитлеровский. Одно из главных различий между ними я вижу в том, что нацистский режим НЕ занимался истреблением собственного немецкого народа и своих руководящих кадров. Гитлер репрессировал и нередко уничтожал немцев, пытавшихся бороться с нацизмом, жестоко расправился с угрожавшими его личной власти «штурмовиками» (первым вооруженным формированием нацистов под командованием Рема), но массовых репрессий, подобных сталинским, среди немцев не проводил. Агрессивность Гитлера и нацистов была направлена главным образом на другие народы.

Для сталинского же режима главным объектом агрессии был собственный народ, и жертвами были массы людей, даже не помышлявших о борьбе с режимом, часто преданных ему. Если сложить жертвы раскулачивания, голода, организованного Сталиным в 1932 году на Украине, жертвы политических репрессий, включая солдат, погибших во время Отечественной войны от пуль заградотрядов и «Смерша», потери от депортации народов, плюс жертвы войны, львиная доля которых тоже на совести сталинского режима, то получится сумма минимум в 50 миллионов — сокрушительный удар по генофонду народа.¹

Но я, конечно же, далек от того, чтобы утверждать, что гитлеровский режим был лучше сталинского. Оба, как говорится, были хуже. На счету у нацистского режима не меньшее число загубленных жизней, если учесть жертвы Холокоста и Второй мировой

¹По данным западных историков, минимальная суммарная цифра прямых жертв режима по перечисленным «статьям» составляет 35 миллионов человек. Плюс миллионов 15 избыточных потерь Отечественной войны — косвенных жертв сталинского режима.

войны, развязанной нацистами в соавторстве со сталинистами. Оба режима были адом во плоти, и оба были способны, доберись они первыми до атомного оружия, уничтожить жизнь на Земле. Но нацеленность сталинского режима на истребление в первую голову людей в собственной стране — в этом, со-гласитесь, есть что-то жуткое, дьявольское.

И страшно ведь еще то, что жестокость по отношению к собственному народу характерна не только для сталинизма, но и является российской традицией, словно Россия заколдована кем-то или проклята. И от этой традиции мы не избавились до сих пор! Я имею в виду прежде всего беспощадную жестокость нынешних российских реформаторов, предпринимателей, чиновников, из-за алчности которых вымирает по миллиону людей в год. Цифра — вполне созвучная сталинскому людоедству. В русле этой традиции лежит и чеченская война, точнее, геноцид чеченского народа.

Сталинизм не только нанес колоссальный урон генофонду народа, но и растлил народ морально, приучил людей к бесправию, ко лжи, к доносам, жестокости. Социальная пассивность и безответственность, способность не обращать внимания на страдания окружающих, звериный эгоизм стали условием самосохранения, выживания.

Кастрировал режим и интеллект народа, приучая людей говорить и делать абсурдные, идиотические вещи. Особенно пострадала от этого гуманитарная интеллигенция, деятельность которой не была связана с практикой, с производством, т. е. с необходимостью хоть как-то рационально поступать и мыслить.

Наконец, режим усиленно спаивал людей. Разъезжая впоследствии по стране, я с достоверностью узнал, что по секретному предписанию партийные и хозяйственные власти должны были всегда и везде бесперебойно обеспечивать народ алкоголем. В сельпо могло не быть «бычков в томате» и хлеба, но водка должна была быть во что бы то ни стало.

В итоге *сталинизм лишил людей способности к самозащите, самоорганизации, объединению.*

Только этим можно объяснить феноменальное, поражающее весь мир долготерпение российских людей в эпоху строительства нового «светлого будущего», в свою очередь разрушающего страну, ее природу, духовное и физическое здоровье людей.

И еще необходимо остановиться на факте внедрения Сталиным антисемитизма в жизнь общества. Почти никто не осознает у нас до конца значение этого явления. Я сам полностью это осознал только в процессе работы над книгой.

Антисемитизм был главным оружием нацизма и одним из его главных преступлений. После разгрома нацизма, после вскрытия лагерей смерти антисемитизм ужаснул всех нормальных людей в цивилизованных странах. В том числе и большинство немцев. Процесс раскаяния прошел так глубоко и широко, что захватил все немецкое общество. Показательно, что в Германии было создано даже объединение детей нацистов с целью помочь всем желающим молодым немцам выезжать в страны, пострадавшие от Германии, для работы по восстановлению разрушенного. Много немцев работало и в Израиле, в кибуцах. Я лично был знаком с такими людьми.

Но нацистский антисемитизм не исчез в 1945 году, он перебрался в страну, победившую Германию, в страну, «спасшую мир от коричневой чумы». Это ли не чудовищно? И не является ли это мрачным знаменем для дальнейшей судьбы нашей страны?

Не надо только говорить, что насаждение антисемитизма было исключительно делом рук Сталина. Да, Сталин санкционировал перенос штама «коричневой чумы» на российскую поч-

ву, но какой благодатной она оказалась для этой заразы! Сколько было последователей у доктора Тимашук, «разоблачившей» кремлевских врачей-отравителей, сколько было борцов с «космополитами безродными» за русские приоритеты!

В Италии и Испании антисемитизмом не удалось заразить народ даже при фашистских режимах!

После смерти Сталина антисемитизм в России лишь слегка был смягчен, но не снят с «вооружения партии», с которой значительная часть народа была на самом деле едина, особенно опять же в деле антисемитизма. Не изжит он и до сих пор. Показателен в этой связи тот факт, что российское общество, его творческая элита не хочет замечать, что человек, которого до сих пор иные величают «совестью русского народа» и «выдающимся гуманистом» — речь о Солженицыне, — был и остается махровым антисемитом, недавно выпустившим в свет очередной свой антисемитский труд «Двести лет вместе».

Германия и Россия

Сопоставлю в заключение современные Германию и Россию. Когда в середине 90-х годов неонацисты в Восточной Германии подожгли общежитие для турецких эмигрантов и в огне погибли три турчанки, по всей Германии прокатились стихийные антинацистские демонстрации, в которых в общей сложности участвовало около полутора миллионов человек. (Подробнее об этих демонстрациях я расскажу дальше, в главах об эмиграции.) И теракты неонацистов после того прекратились! «Неонаци» поняли, что они — изгои в немецком обществе.

А в Москве недавно русские нацисты при попустительстве милиции учинили погром на Царицынском рынке, убили трех «черных» и до 30 человек ранили. Большие были демонстрации протеста? Никаких не было! И обвинение арестованным было переквалифицировано с погрома на хулиганские действия. Я уж не говорю о том погроме, который вот уже скоро шесть лет идет в Чечне!

Когда я рассказываю, как теперь относятся люди в Германии к проявлению нацистского человеконенавистничества, меня иногда спрашивают, в чем причина этого, почему немцы, в отличие от россиян, проявляют большую гражданскую ответственность и активность? Ведь они тоже не так давно жили при бесчеловечном тоталитарном режиме и поддерживали его.

Ответ не прост. Во-первых, нацизм продержался в Германии намного меньше, чем сталинизм у нас. Нацизм — 12 лет (с 1933 по 1945 год) сталинизм — 58 (с 1927 по 1985 год).

Но главное, на мой взгляд, состоит опять же в отличии нацизма от сталинизма. Нацизм прежде всего опьянял, зомбировал людей, сталинизм — разлагал морально.

Конечно, нацизм тоже производил разлагающее действие, но не это было главным его оружием. Нацизм одурманивал немцев изошренной шовинистической пропагандой, которая велась с помощью «продвинутых» немецких социопсихологов. Вспомним потрясающие воображение нацистские парады, когда массы солдат двигались по площадям, как тевтонский лес. Апелляция к прапамяти: Германия в древности была страной непроходимых лесов, в дебрях которых тевтоны истребляли непобедимые римские легионы. Вспомним речи Гитлера и его сподвижников, приводившие толпу в истерическое состояние — вскидывание леса рук с криком «Хайль Гитлер!», бесчисленные красные стяги с черной свастикой и многое другое.

Взвинтили до предела шовинистический угар и головокружительные успехи режима перед мировой войной и в ее начале.

Сталинизм же разлагал людей бесподобной лживостью, цинизмом, когда провозглашалось одно, а делалось совсем другое. Нацизм, к примеру, откровенно заявлял о превосходстве немцев, арийской расы над всеми другими народами и расами, а сталинизм маскировал русский шовинизм декорацией интернационализма и «дружбы народов». Человеческого облика лишала людей и атмосфера беспримерного страха перед властями, нагнетаемого бесконечными и многообразными репрессиями. Людей сажали не только за антисоветскую пропаганду, но и за сбор оставшихся на полях колосьев или картошки, за уход с работы без разрешения дирекции, за аварии на производстве, за аборт, за пропаганду «космополитизма», за продажу валюты и т.д. до бесконечности. Не забыть прибавить сюда и массовое доносительство и опять же страх перед ним.

Когда Германия потерпела сокрушительное поражение и открылась вся сущностная ложь и нечеловеческая жестокость нацизма, и немцев стали презирать повсюду в мире, расистский дурман в их головах рассеялся как дым, наступило отрезвление, пришел стыд, раскаяние, возникло стремление смыть позор.

Когда же рухнул тоталитаризм в нашей стране, моральная деградация никуда не делась, не испарилась. Деградация, в отличие от опьянения, наваждения, быстро не проходит! Более того, деградация российского общества предопределила создание нынешнего режима, который с новой силой продолжил процесс морального разложения общества.

Уже после того как я закончил эту главу, стало известно выступление Путина в Польше (16 января 2002 года), когда на вопрос, не намерено ли российское правительство по примеру немецких властей выплачивать компенсации родственникам расстрелянных при Сталине польских офицеров, Путин ответил, что нельзя равнять гитлеровский режим со сталинским. Гитлеризм, мол, в отличие от сталинизма был агрессивным режимом, развязавшим мировую войну. И такое Путин не смутился говорить в стране, где каждый камень помнит, как Гитлер вместе со Сталиным начали мировую войну разделом Польши. Это ли не свидетельство того, как глубоко погружены в прошлое нынешние руководители страны и как разложил сталинизм российских людей?